

Н. Лесков

На краю света

**Москва
«Книга по Требованию»**

УДК 82-3
ББК 84
Л50

Л50 **Лесков Н.С.**
На краю света / Н. Лесков – М.: Книга по Требованию, 2021. – 54 с.

ISBN 978-5-4241-2204-0

Всеобщая гармония и мир. Праведничество, совестливость, сострадание и любовь. Самые сокровенные, самые заветные свои мысли доносит до читателя Лесков в легендах и сказках, рассказах-притчах и обзорениях, созданных в последние годы жизни.

ISBN 978-5-4241-2204-0

© Издание на русском языке, оформление
«YOYO Media», 2021
© Издание на русском языке, оцифровка,
«Книга по Требованию», 2021
© Н.С. Лесков, 2021

Николай Лесков
На краю света

Глава первая

Ранним вечером, на святках, мы сидели за чайным столом в большой голубой гостиной архиерейского дома. Нас было семь человек, восьмой наш хозяин, тогда уже весьма престарелый архиепископ, больной и немощный. Гости были люди просвещенные, и между ними шел интересный разговор о нашей вере и о нашем неверии, о нашем проповедничестве в храмах и о просветительных трудах наших миссий на Востоке. В числе собеседников находился некто флота-капитан Б., очень добрый человек, но большой нападачик на русское духовенство. Он твердил, что наши миссионеры совершенно неспособны к своему делу, и радовался, что правительство разрешило теперь трудиться на пользу слова божия чужеземным евангелическим пасторам. Б. выражал твердую уверенность, что эти проповедники будут у нас иметь огромный успех не среди одних евреев и докажут, как два и два – четыре, неспособность русского духовенства к миссионерской проповеди.

Наш почтенный хозяин в продолжение этого разговора хранил глубокое молчание: он сидел с покрытыми пледом ногами в своем глубоком вольтеровском кресле и, по-видимому, думал о чем-то другом; но когда Б. кончил, старый владыка вздохнул и проговорил:

– Мне кажется, господа, что вы господина капитана напрасно бы стали оспаривать; я думаю, что он прав: чужеземные миссионеры положительно должны иметь у нас большой успех.

– Я очень счастлив, владыко, что вы разделяете мое мнение, – отвечал капитан Б. и, сделав влед за сим несколько самых благопристойных и тонких комплиментов известной образованности ума и благородству характера архиерея, добавил:

– Ваше высокопреосвященство, разумеется, лучше меня знаете все недостатки русской церкви, где, конечно, среди духовенства есть люди и очень умные и очень добрые, – я этого никак не стану оспаривать, но они едва ли понимают Христа. Их положение и прочее... заставляет их толковать всё... слишком узко.

Архиерей посмотрел на него, улынулся и ответил:

– Да, господин капитан, скромность моя не оскорбится признать, что я, может быть, не хуже вас знаю все скорби церкви; но справедливость была бы оскорблена, если бы я решился признать вместе с вами, что в России г-спода Христа понимают менее, чем в Тюбингене, Лондоне или Женеве.

– Об этом, владыко, еще можно спорить.

Архиерей снова улынулся и сказал:

– А вы, я вижу, охочи спорить. Что с вами делать! От спора мы воздержимся, а беседовать – давайте.

И с этим словом он взял со стола большой, богато украшенный резьбою из слоновой кости, альбом и, раскрыв его, сказал:

– Вот наш господь! Зову вас посмотреть! Здесь я собрал много изображений его лица. Вот он сидит у кладеза с женой самаритянской – работа дивная; художник, надо думать, понимал и лицо и момент.

– Да; мне тоже кажется, владыко, что это сделано с понятием, – отвечал Б.

– Однако нет ли здесь в божественном лице излишней мягкости? не кажется

ли вам, что ему уж слишком все равно, сколько эта женщина имела мужей и что нынешний муж – ей не муж?

Все молчали; архиерей это заметил и продолжал:

– Мне кажется, сюда немного строгого внимания было бы чертой нелишнейю.

– Вы правы может быть, владыко.

– Распространенная картина; мне доводилось ее часто видеть, по преимуществу у дам. Посмотрим далее. Опять великий мастер. Христа целует здесь Иуда. Как кажется вам здесь господень лик? Какая сдержанность и доброта! Не правда ли? Прекрасное изображение!

– Прекрасный лик!

– Однако не слишком ли много здесь усилия сдерживаться? Смотрите: левая щека, мне кажется, дрожит, и на устах как бы гадливость.

– Конечно, это есть, владыко.

– О да; да ведь Иуда ее уж, разумеется, и стоил; и раб и льстец – он очень мог ее вызвать у всякого... только, впрочем, не у Христа, который ничем не брезговал, а всех жалел. Ну, мы этого пропустим; он нас, кажется, не совсем удовлетворяет, хотя я знаю одного большого сановника, который мне говорил, что он удачнее этого изображения Христа представить себе не может. Вот вновь Христос, и тоже кисть великая писала – Тициан: перед господом стоит коварный фарисей с динарием. Смотрите-ка, какой лукавый старец, но Христос... Христос... Ох, я боюсь! смотрите: нет ли тут презрения на его лице?

– Оно и быть могло, владыко!

– Могло, не спорю: старец гадок; но я, молясь, таким себе не мыслю гóспода и думаю, что это неудобно? Не правда ли?

Мы отвечали согласием, находя, что представлять лицо Христа в таком выражении неудобно, особенно вознося к нему молитвы.

– Совершенно с вами в этом согласен и даже припоминаю себе об этом спор мой некогда с одним дипломатом, которому *этот* Христос только и нравился; но, впрочем, что же?.. момент дипломатический. Но пойдете далее: вот тут уже, с этих мест у меня начинаются одинокие изображения господа, без соседей. Вот вам снимок с прекрасной головы скульптора Кауера: хорош, хорош! – ни слова; но мне, воля ваша, эта академическая голова напоминает гораздо менее Христа, чем Платона. Вот он, еще... какой страдалец... какой ужасный вид придал ему Метсу!.. Не понимаю, зачем он его так избил, иссек и искровянил?.. Это, право, ужасно! Опухли веки, кровь и синяки... весь дух, кажется, из него выбит, и на одно страдающее тело уж смотреть даже страшно... Перевернем скорей. Он тут внушает только сострадание, и ничего более. – Вот вам Лафон, может быть и небольшой художник, да на многих нынче хорошо потрафил; он, как видите, понял Христа иначе, чем все предыдущие, и иначе его себе и нам представил: фигура стройная и привлекательная, лик добрый, голубиный взгляд под чистым лбом, и как легко волнуются здесь кудри: тут локоны, тут эти петушки, крутятся, легли на лбу. Красиво, право! а на руке его пылает сердце, обвитое терновою лозою. Это «Sacé soeиг», что! отцы иезуиты проповедуют; мне кто-то сказывал, что они и вдохновляли сего господина Лафона чертить это изображение; но оно, впрочем, нравится и тем, которые думают, что у них нет ничего общего с отцами иезуитами. Помню, мне как-то раз, в лютый мороз, довелось заехать в Петербурге к одному русскому князю, который показывал мне чудеса своих палат, и вот

там, не совсем на месте – в зимнем саду, я увидел впервые этого Христа. Картина в рамочке стояла на столе, перед которым сидела княгиня и мечтала. Прекрасная была обстановка: пальмы, аурумы, бананы, щебечут и порхают птички, и она мечтает. О чем? Она мне сказала: «ищет Христа». Я тогда и всмотрелся в это изображение. Действительно, смотрите, как он эффектно выходит, или, лучше сказать, изнашивается, из этой тьмы; за ним ничего: ни этих пророков, которые докучали всем, бегая в своих лохмотьях и цепляясь даже за царские колесницы, – ничего этого нет, а только тьма... тьма фантазии. Эта дама, – пошли ей бог здоровья, – первая мне и объяснила тайну, как находить Христа, после чего я и не спорю с господином капитаном, что иностранные проповедники у нас не одним жидам его покажут, а всем, кому хочется, чтобы он пришел под пальмы и бананы слушать канареек. Только он ли туда придет? Не пришел бы под его след кто другой к ним? Признаюсь вам, я этому шеголеватому канареечному Христу охотно предпочел бы вот эту жидоватую главу Гверчино, хотя и она говорит мне только о добром и восторженном равнине, которого, по определению господина Ренана, можно было любить и с удовольствием слушать... И вот вам сколько пониманий и представлений о том, кто один всем нам на потребу! Закроем теперь всё это, и обернитесь к углу, к которому стоите спиной: опять лик Христов, и уже на сей раз это именно не лицо, – а лик. Типическое русское изображение господина: взгляд прям и прост, темя возвышенное, что, как известно, и по системе Лафатера означает способность возвышенного богопочтения; в лике есть выражение, но нет страстей. Как достигали такой прелести изображения наши старые мастера? – это осталось их тайной, которая и умерла вместе с ними и с их отверженным искусством. Просто – до невозможности желать простейшего в искусстве: черты чуть слегка означены, а впечатление полно; мужиковат он, правда, но при всем том ему подобает поклонение, и как кому угодно, а по-моему, наш простодушный мастер лучше всех *понял* — кого ему надо было написать. Мужиковат он, повторяю вам, и в зимний сад его не позовут послушать канареек, да что беды! – где он каким открылся, там таким и ходит; а к нам зашел он в рабьем зраке и так и ходит, не имея где главы приклонить от Петербурга до Камчатки. Знать ему это нравится принимать с нами поношения от тех, кто пьет кровь его и ее же проливает. И вот, в эту же меру, в какую, по-моему, проще и удачнее наше народное искусство поняло внешние черты Христова изображения, и народный дух наш, может быть, ближе к истине постиг и внутренние черты его характера. Не хотите ли, я вам расскажу некоторый, может быть не лишенный интереса, анекдот на этот случай.

– Ах, сделайте милость, владыко; мы все вас просим об этом!

– А, просите? – так и прекрасно: тогда и я вас прошу слушать и не перебивать, что я начну сказывать довольно издали.

Мы откашлинулись, поправились на местах, чтобы не шевелиться, и архиерей начал.

Глава вторая

– Мы должны, господа, мысленно перенестись за много лет назад: это будет относиться к тому времени, когда я еще, можно сказать довольно молодым человеком, был поставлен во епископы, в весьма отдаленную сибирскую епархию. Я был от природы нрава пылкого и любил, чтобы у меня было много дела, а потому не только не опечалился, а даже очень обрадовался этому дальнему назначению. Слава богу, думал я, что мне хотя для начала-то выпало на долю не только ставленников стричь да пьяных дьячков разбирать, а настоящее живое дело, которым можно с любовью заняться. Я разумел именно то наше малоуспешное миссионерство, о котором господин капитан изволил вспомнить в начале нашей сегодняшней беседы. Ехал я к своему месту, пылая рвением и с планами самыми обширными, и сразу же было и всю свою энергию остудил и, что еще важнее, – чуть-чуть было самого дела не перепортил, если бы мне не дан был спасительный урок в одном чудесном событии.

– Чудесное! – воскликнул кто-то из слушателей, позабыв условие не перебивать рассказа; но наш снисходительный хозяин за это не рассердился и отвечал:

– Да, господа, обмолвись словом, могу его не брать назад: в том, что со мною случилось и о чем начал вам рассказывать – не без чудес, и чудеса эти начали мне являться чуть не с самого первого дня моего прибытия в мою полудикую епархию. Первое дело, с которого начинается свою деятельность русский архиерей, куда бы он ни попал, конечно есть обозрение внешности храмов и богослужения, – к этому обратился и я: велел, чтобы везде были приняты прочь с престолов лишние Евангелия и кресты, благодаря которым эти престолы у нас часто превращаются в какие-то выставки магазина церковной утвари. Заказал себе столько ковриков с орлецами, сколько нужно было, чтобы они лежали на своих местах, чтобы не шмыгали у меня с ними под носом, подбрасывая их под ноги. С усилием и под страхом штрафов воздерживал дьяконов не ловить меня во время служения за локти и не забираться рядом со мною на горнее место, а наипаче всего не наделять тумачами и подзагравками бедных ставленников, у которых оттого, после приятия благодати святого духа, недели по две и загорбок и шея болит. И никто из вас мне не поверит, сколько все это стоит труда и какие приносит досады, особенно человеку нетерпеливому, каким я тогда был и остаюсь таковым же, к моему стыду, отчасти и доселе. Окончилось с этим, – надо было приниматься за второе архиерейское дело первой важности: удостовериться, умеют ли причетники читать хоть уж если не по писаному, то по крайней мере по печатному. Эти экзамены долго меня заняли и сильно досаждали мне, а порою и смешили. Безграмотный, или по крайней мере *«неписьменный»*, дьячок или пономарь и теперь еще, пожалуй, отыщется в селе или в уездном городишке и внутри России, что и оказалось, когда им, несколько лет тому назад, пришлось в первый раз расписываться в получении жалованья. Но тогда, – во время оно, да еще в Сибири, – это было явление самое обыкновенное. Я их велел учить; они на меня,разумеется, плакались и прозвали меня *«плотым»*; приходы жаловались, что нет чтецов, что архиерей *«церкви разоряет»*. Чтó тут делать! я стал отпускать на места таких дьячков, которые хоть на память читать умели, и – о боже! – что за людей я видел! Косые, хромые, гунгвявые, юродивые и даже... какие-то одер-

жимые. Один вместо «приидите, поклонимся Цареве нашему Богу», закрыв глаза, как перепел, колотил: «плитимбоу, плитимбоу» и заливался этим так, что удержать его было невозможно. Другой – уже это именно был одержимый, – он так искусился в скорохвате, что с каким-нибудь известным словом у него являлась своя ассоциация идей, которой он никак не мог не подчиняться. Такое слово для него было, например, «на небеси». Начнет читать: «Иже на всякое время, на всякий час на небеси...» и вдруг у него что-то в голове защелкнет, и он продолжает: «да святится Имя Твое, да приидет царствие». Что я с этим тираном ни мучился, все было тщетно! Велел ему по книге читать, – читает: «Иже на всякое время, на всякий час на небеси», но вдруг закрыл книгу и пошел: «да святится имя Твое», и залопотал до конца, и возглашает: «от лукавого». Только тут и остановиться мог: оказалось, что он не умеет читать. За грамотностью дьячков очередь переходит к благонаравно семинаристов, и опять начинаются чудеса. Семинария была до того распушена, воспитанники пьянствовали и до того бесчинствовали, что, например, один философ при инспекторе, кончая вечерние молитвы, прочел: «упование мое – Отец, прибежище мое – Сын, покров мой – Дух Святыи: Троица Святая, – *мое вам почтение*»; а в богословском классе другая история: один после обеда благодарит, «яко насытил земных благ», и просит не лишить и «небесного царствия», а ему из толпы кричат: «Свинья! нажрался, да еще в царство небесное просишься».

Надо было подыскать как можно скорее инспектора, подходящего под мой дух, – тоже лютого; при большой спешности и небольшом выборе попался такой: лютость в нем оказалось довольно, но уже зато ничего другого не спрашивай.

– Я, – говорит, – ваше преосвященство, приму все это по-военному, чтобы сразу...

– Хорошо, – отвечаю, – примись по-военному...

Он и принялся и с того начал, что молитвы распорядился не читать, но петь хором, дабы устранить всякие шалости, и то петь по его команде. Взойдет он при полном молчании и, пока не скамандует, все безмолвствуют; скамандует: «Молитву!» и запоют. Но этот уже очень «по-военному» устави́л; скамандует: «Молит-в-у-у!» Семинаристы только запоют «Очи всех, Господи, на Тя упов...» – он на половине слова кричит: «Ст-о-ой!» и подзывает одного:

– Фролов, поди сюда!

Тот подходит.

– Ты Багреев?

– Нет-с, я Фролов.

– А-а: ты Фролов?! Отчего же это я думал, что ты Багреев?

Опять хохот, и опять ко мне жалобы. Нет, вижу – не годится этот с военными приемами, и нашел кое-как цивилиста, который был хотя не столь лют, но благо-разумнее действовал: перед учениками притворялся самым слабым добряком, а мне все ябедничал и повсюду рассказывал ужасы о моем зверстве. Я это знал и, видя, что эта мера оказывается действительною, не претил его системе.

Насилу этих своею «лютостью» в повиновение привел, в зрелом возрасте чудеса пошли: доносят мне, что в соборного протоиерея воз сена в середине въехал и не может выехать. Посылаю узнавать, говорят: действительно так. Протопоп был тучный, после обедни крестил в купеческом доме и вдоволь облепихою угостился, а что от этой облепихи, что от другой тамошней ягоды, дикуши,

хмель самый тяжелый и глупый. То и с этим случилось: пришел домой, часа четыре заснул, встал и, выпив жбан квасу, лег грудью на окно, чтобы поговорить с кем-то, кто внизу стоял, и вдруг... воз с сеном в него въехал. Ведь все это глупое такое, что даже противно делается, а разделяется, так, пожалуй, еще противней станет. На другой день келейник подает мне сапоги и докладывает, что «слава богу, говорит, из отца протопоба воз с сеном уже выехал».

– Очень рад, – говорю, – таковой радости; но подай-ка мне эту историю обстоятельно.

Оказывается, что протопоб, имевший двухэтажный дом, лег на окно, под которым были ворота, и в них в эту минуту въехал воз с сеном, причем ему, от облепихи и от сна до одури, показалось, что это в него въехало. Невероятно, но, однако, так было: *credo, quia absurdum*.¹

Как же сего дивотворного мужа спасли?

А тоже дивотворно: встать он ни за что не соглашался, потому что в нем воз сидит; лекарь не находил лекарства против сего недуга. Тогда шаманку призвали; та повертелась, постучала и велела на дворе воз сена наложить и назад выехать; больной принял, что это из него выехало, и исцелел.

Ну, после этого делайте с ним что хотите, а он свое уже сделал: и людей на-смешил, и шаманку призвал идольскими чарами его пользоваться; а такие вещи там не в мешочке лежат, а по дорожке бежат. «Что-де попы, – они ничего не значат и сами наших шаманов зовут шайтана отгонять». И идут себе да идут этикие глупости. Долго я приправлял, как мог, сии дымящие лампы, и приходская часть мне через них невыносимо надокучила; но зато настал давно желанный и вожделенный миг, когда я мог всего себя посвятить трудам по просвещению диких овец моей паствы, пасущихся без пастыря.

Забрал я себе все касающиеся этой части бумаги и присел за них вплотную, так что и от стола не отхожу.

Глава третья

Ознакомясь с миссионерскими отчетностями, я остался всею деятельностью недоволен более, чем деятельностью моего приходского духовенства: обращений в христианство было чрезвычайно мало, да и то ясно было, что добрая доля этих обращений значилась только на бумаге. На самом же деле одни из крещеных снова возвращались в свою прежнюю веру – ламайскую или шаманскую; а другие делали из всех этих вер самое странное и нелепое смешение: они молились и Христу с его апостолами, и Будде с его буддисидами да тенгеринами, и войлочным сумочкам с шаманскими ангонами. Двоеверие держалось не у одних кочевников, а почти и повсеместно в моей пастве, которая не представляла отдельной ветви какой-нибудь одной народности, а какие-то щепы и осколки бог весть когда и откуда сюда попавших племенных разновидностей, бедных по языку и еще более бедных по понятиям и фантазии. Видя, что все, касающееся миссионерства, находится здесь в таком хаосе, я возымел об этих моих сотрудниках мнение самое невыгодное и обошелся с ними нетерпеливо сурово. Вообще я стал очень раздражителен, и данное мне прозвище «лютого» начало мне приличествовать. Особенно испытал на себе печать моего гневливого нетерпения бедный монастырек, который я избрал для своего жительства и при котором желал основать школу для местных инородцев. Расспросив чернецов, я узнал, что в городе почти все говорят по-якутски, но из моих иноков изо всех по-инородчески говорит только один очень престарелый иеромонах, отец Кириака, да и тот к делу проповеди не годится, а если и годится, то, хоть его убей, не хочет идти к диким проповедовать.

– Что это, – спрашиваю, – за ослушник, и как он смеет? Сказать ему, что я этого не люблю и не потерплю.

Но еkkлезиарх мне отвечает, что слова мои передаст, но послушания от Кириака не ожидает, потому что это уже ему не первое: что и два мои быстро друг за другом сменившиеся предместника с ним строгость пробовали, но он уперся и одно отвечает:

– «Душу за моего Христа положить рад, а крестить там (то есть в пустынях) не стану». Даже, говорит, сам просил лучше сана его лишить, но туда не посылать. И от священнодействия много лег был за это послушание запрещен, но нимало тем не тяготился, а, напротив, с радостью нес самую простую службу: то сторожем, то в звонарне. И всеми любим: и братией, и мирянами, и даже язычниками.

– Как? – удивляюсь, – неужто даже и язычниками?

– Да, владыко, и язычники к нему иные заходят.

– За каким же делом?

– Уважают его как-то исстари, когда еще он на проповедь ездил в прежнее время.

– Да каков он был в то, в прежнее-то время?

– Прежде самый успешный миссионер был и множество людей обращал.

– Что же ему такое сделалось? отчего он бросил эту деятельность?

– Понять нельзя, владыко: вдруг ему что-то приключилось: вернулся из степей, принес в алтарь мирницу и дароносицу и говорит: «Ставлю и не возьму опять, доколе не придет час».

– Какой же ему нужен час? что он под сим разумеет?

– Не знаю, владыко.

– Да неужто же вы у него никто этого не добивались? О, роде лукавый, доколе живу с вами и терплю вас? Как вас это ничто, дела касающееся, не интересует? Попомните себе, что если тех, кои ни горячи, ни холодны, господь обещал изблевать с уст своих, то чего удостоитесь вы, совершенно холодные?

Но мой еkkлезиарх оправдывается:

– Всячески, – говорит, – владыко, мы у него любопытствовали, но он одно отвечает: «Нет, говорит, детушки, это дело не шутка, – это страшное... я на это смотреть не могу».

А что такое страшное, на это еkkлезиарх не мог мне ничего обстоятельного ответить, а сказал только, что «полагаем-де так, что отцу Кириаку при проповеди какое-либо откровение было». Меня это рассердило. Признаюсь вам, я недолюбиваю этот ассортимент «слывущих», которые вживе чудеса творят и непосредственными откровениями хвалятся, и причины имею их недолюбивать. А потому я сейчас же потребовал этого строптивного Кириака к себе и, не довольствуясь тем, что уже достаточно слыл грозным и лютым, взял да еще принакупился: был готов опалить его гневом, как только покажется. Но пришел к моим очам монашек такой маленький, такой тихий, что не на кого и взоров метать; одет в обляной коленкоровой ряске, клобук толстым сукном покрыт, собой черненький, востролиценький, а входит бодро, без всякого подобострастия, и первый меня приветствует:

– Здравствуй, владыко!

Я не отвечаю на его приветствие, а начинаю сурово:

– Ты что это здесь чудишь, приятель?

– Как, – говорит, – владыко? Прости, будь милостив: я маленько на ухо тут – не все дослышал.

Я еще погромче повторил.

– Теперь, мол, понял?

– Нет, – отвечает, – ничего не понял.

– А почему ты с проповедью идти не хочешь и крестить инородцев избегаешь?

– Я, – говорит, – владыко, ездил и крестил, пока опыта не имел.

– Да, мол, а опыт получивши, и перестал?

– Перестал.

– Что же сему за причина?

Вздохнул и отвечает:

– В сердце моем сия причина, владыко, и сердцеведец ее видит, что велика она и мне, немощному, непосильна... Не могу!

И с сим в ноги мне поклонился.

Я его поднял и говорю:

– Ты мне не кланяйся, а объясни: что ты, откровение, что ли, какое получил или с самим богом беседовал?

Он с кроткою укоризною отвечает:

– Не смейся, владыко; я не Моисей, божий избранник, чтобы мне с богом беседовать; тебе грех так думать.

Я устыдился своего пыла и смягчился, и говорю ему:

– Так что же? за чем дело?